

Александр ВЕРГЕЛИС

*Александр Вергелис родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат премии журнала «Звезда» (2006), премии имени Беллы Ахмадулиной «Белла» (Верона, 2013), победитель конкурса имени Н.С. Гумилева (2017). Автор двух книг стихов. Живет в Санкт-Петербурге.*

## НАПАСТЬ

### *Рассказ*

Он так и не понял, когда *она* появилась – до его пробуждения или после. Скорее всего, не до и не после, а где-то посередине, на размытой, едва различимой границе сна и яви, в этом странном промежутке, длившемся, быть может, долю секунды, но по его собственным ощущениям – целую жизнь.

*Она* сложилась как-то сразу, вернее, явилась ему уже готовой – не только основным мелодическим рисунком, но всей россыпью полутонов, всеми своими дивными переливами и ещё чем-то, чему он, никогда не учившийся музыке, не мог подобрать названия. Он долго лежал в постели с закрытыми глазами, с плотно заткнутыми ушами, раз за разом проигрывая *её* в голове, стараясь запомнить, боясь, что утренний свет и посторонние звуки сразу разрушат *её* хрупкое сложное тело, чем-то напоминавшее кристаллическую решетку.

Наконец он вынул пальцы из ушей, и мутная волна привычного утреннего шума, состоявшего из криков расшалившихся в соседней комнате детей, грохота мусорных контейнеров под окном и ровного гула моторов, доносившегося со стороны проспекта, ворвалась в комнату. Он поморщился, откинул одеяло и сел, ощутив подошвами прохладу паркета. Мягкий осенний свет, отфильтрованный полупрозрачными занавесками, ложился на серый холмик из скомканной рубашки, брюк и носков, на разбросанные по полу игрушки. В любое другое утро ничего, кроме уныния, вид этой неприбранной комнаты у него бы не вызвал, но теперь весь этот житейский хаос рождал в нём какое-то смутное и счастливое беспокойство. Это было сродни тем утренним пробуждениям, когда он, только что сдавший вступительные экзамены, оказавшись в блаженном двухмесячном просвете между школой и университетом, первым летом взрослой жизни просыпался в дачной мансарде от птичьего свиста и солнца, прожигавшего насквозь тюлевые, надутые нетерпеливым утренним ветром паруса. Благодарность за подаренное неизвестно кем существование и безотчётная приязнь ко всему существующему наполняли его в те минуты, и что-то подобное он чувствовал сейчас, сидя на диване, на сорок первом году жизни. Он понимал, что все дело в музыке, столь неожиданно родившийся в нём – или каким-то непостижимым образом в него вселившейся, как будто летевшей сквозь ночь из таинственных надмирных бездн и сбившейся с пути, перепутавшей улицу, город, страну, и по ошибке, вместо того чтобы навестить какого-нибудь профессионального сочинителя концертов для фортепиано с оркестром, попавшей в его немзыкальный мозг, где теперь лилась и расплескивалась бесполезно-прекрасными звуками...

А что если это не случайность? А вдруг он просто не подозревал о своём истинном предназначении, не догадывался о том, ради чего должен был жить? И уже вскоре он был почти уверен в том, что жить должен был именно ради этого, вот именно этого *чего-то*, бегущего невидимыми пальцами по невидимым клавишам, скользившего вместе с невидимыми смычками по невидимым струнам. Дети всё громче кричали за стенкой, из

окна продолжал рычать мотором и греметь пустыми контейнерами мусоровоз. А где-то внутри неистовствовал длиннопалый, взъерошенный, расфраченный пианист, улыбался, показывая ровные белые зубы, успевая поглядывать в зал, где из темноты на него смотрел единственный слушатель.

Он сидел, вцепившись обеими руками в волосы. Внутренняя музыка поднимала его и несла куда-то, потом вдруг роняла, но в последний момент подхватывала и несла снова... «Неужели это я? – думал он, дрожа всем телом. – Неужели это – во мне?» Вот так дожил до сорока, всегда занимался совсем другими вещами, и не знал, кем был на самом деле, проживая другую, постороннюю, чужую жизнь! Инженер-химик, продавец радиодеталей, менеджер по рекламе, верный муж, терпеливый отец... Он поднял голову и увидел горькую усмешку на небритом, слегка припухшем со сна лице в зеркале шкафа. Какой странной показалась ему вся его прежняя жизнь, какими глупыми – все его представления о жизни, с которыми он эту жизнь проживал! И Бог бы с ней, пусть бы и дальше продолжалась она, эта странная глупая жизнь, но пусть в ней было бы еще и это – хотя бы в виде тайного увлечения, которое возвышало бы его над каждодневной скучной суетой, над невыносимым шумом бездарно умирающих дней.

Но уж нет, какое там увлечение (он вскочил на ноги), тут надо на всю катушку, по полной программе! В конце концов, этим можно было бы жить, зарабатывать деньги, которых вечно не хватает, например, писать музыку для кино, ну или для эстрады – почему нет? Но сначала, разумеется, необходимо научиться азам... Отражение в зеркале шкафа вновь усмехнулось. Кривоногий лысеющий человек в семейных трусах и майке, разбуженный посреди жизни мечтой о карьере композитора... А почему, собственно, нет? Бывает ведь и не такое. Ему представилась сияющая телестудия, внимательные глаза усыпанной агатовыми родинками журналистки с канала «Культура», почтительно задающей вопросы, ловящей каждое слово, понимающе и благодарно кивающей. Как же это началось? Как вы пришли к этому? Как открыли в себе своё истинное призвание? Вы не поверите... Это было одним осенним утром, самым обычным утром, я только что проснулся и понял, что в моей жизни произошло нечто невероятное... Понимаете? Лежу я, пардон, на диване совершенно счастливый, а сам в то же время думаю, что надо идти на кухню – ха-ха – готовить детям кашу. Хотя овсянки осталось с гулькин нос, придется бежать в магазин... А дети в это время бесятся в детской... ну, детская – это чистая условность, у нас тогда была, знаете ли, двухкомнатная квартира, вернее, полуторакомнатная, так вот, я спал в одной комнате, вернее, полуконате, с сыном, а жена – с дочкой, там же стояло старое мамино пианино... Нет, нет, к чёрту эти подробности, кому они интересны... О, ну что Вы, пожалуйста, рассказывайте! Журналистке действительно интересно, она волнуется, тербит родинку, с обожанием смотрит на него, написавшего ту самую, ту прекрасную, ту знаменитую... О, никогда не отчаивайтесь, верьте в себя, пробуйте новое! Помните: жизнь щедра на подарки! – это он уже под занавес, завершая интервью, вещает с мудрой улыбкой человека, который не испугался, сделал шаг навстречу судьбе и изменил свою жизнь.

Но хватит раскатывать губу, к чёрту, к чёрту эти пошлые хотения, оскорбляющие дух музыки, главное ведь не успех и тем более не деньги – главное ведь – бескорыстное служение, главное – сама музыка, в ней-то и заключается весь смысл, и важнее всего сейчас, в настоящий, так сказать, момент – удержать, сохранить в целостности, не дать рассеяться тому, что жило в нём, что взывало к нему, требуя немедленного воплощения...

Он толкнул дверь. В детской был обычный бедлам: хождение колесом, стояние на ушах. А ну-ка хватит! Прекратить! Но попе захотел? Не трогай сестру! А ты его не провоцируй, тоже мне, недотрога! Мама придёт – всё ей расскажу! И – марш умываться!

Оставшись один, он прикрыл дверь. Озираясь, как вор, сел за дочкин «Красный Октябрь». С волнением поднял крышку. Указательным пальцем осторожно попробовал одну клавишу, тронул другую. С белыми всё более или менее понятно, но вот зачем эти черные? Пока дети в ванной, надо успеть подобрать основную тему, казавшуюся довольно

незамысловатой, состоящей из нескольких простых звуковых комбинаций. Та-там, та-там, та-та-та... Раскрытая пасть пианино дразнила его белозубым оскалом. Он с нарастающим нетерпением давил на клавиши, пробуя нащупать хотя бы приблизительную последовательность звуков – как будто подбирал код от чужой двери, за которой его ждала новая, настоящая жизнь. Нет, ничего у него не получалось – ни одного созвучия, хотя бы отдалённо напоминавшего музыку, продолжавшую тем временем торжественно греметь в его голове.

Он опустил крышку пианино, порывшись в школьном портфеле дочери, откуда выудил испачканную красной гуашью нотную тетрадь, какие-то потрёпанные учебники – математика, сольфеджио, английский. Всю жизнь он испытывал тайную неловкость из-за незнания нотной грамоты и плохого английского. Дочка – та ноты, конечно, знала, но «музыкалку» ненавидела всей своей пылкой девятилетней душой, мучилась завистью к брату, ходившему на шахматы и тхэ... черт бы его побрал, тхэквондо, но не из-за шахмат, конечно, завидовала, а потому что сама имела бойцовский характер и любила подраться, и в кого она такая, непонятно... Можно было бы попросить её помочь, но как бы это выглядело? Папа, ты серьёзно? Зачем тебе это, папа? Полистав старое, засаленное, готовое рассыпаться у него в руках пособие по сольфеджио, он вдруг понял, за что дочка так ненавидит музыкальную школу. Чёрные глазки с хвостиками, напоминавшие головастиков или простейших жгутиковых из школьного курса зоологии, лепились на пяти горизонтальных линиях, дразнили его своими отростками, направленными то вверх, то вниз, сцеплявшимися вместе, образуя омерзительные в своей непонятности двойчатки, тройчатки. Неужели нельзя было придумать что-нибудь попроще, неужели нельзя записывать звуки как-то иначе – например, чтобы каждая нота имела свой отдельный значок – как буква, как число...

В ванной что-то со звоном упало на пол – скорее всего, это был металлический стакан с зубными щетками, вечно он падал с узкой полочки под зеркалом. Сразу после этого наверху включили перфоратор – казалось, стальное сверло медленно входило в его темя, пока он запихивал ненавистные тетради и учебники обратно в портфель. Это был заговор. Против него, против его музыки. Окружающий мир как будто задался целью заглушить своей торжествующей какофонией случайно прорвавшиеся к нему сквозь мировой хаос божественные звуки.

Накинув пуховик прямо на майку, он, не переставая проигрывать в голове основную тему, спустился в магазин – взять молока и овсянки, но у кассы выяснилось, что ни банковской карты, ни налички у него при себе нет, а уже возле подъезда обнаружилось, что нет у него и ключей. Пришлось долго звонить в домофон, ритмично издававший протяжные стоны, и когда, наконец, трубку взял сын, чей роботический голос был едва узнаваем сквозь хрип ветхой аппаратуры, металлическая дверь упрямо отказывалась открываться, приходилось звонить снова и снова... Жены дома не было, она с утра пораньше ушла «делать ресницы» (что, в общем-то, было не так уж плохо, потому что после ресниц у нее всегда улучшалось настроение, но сейчас это было совершенно некстати, тем более что от косметолога она обязательно пойдёт по магазинам – в хорошем-то настроении). Он долго стоял возле двери, заткнув уши, и ждал, пока, наконец, не вывалилась на улицу выгуливать свою болонку усатая одышливая тётка, которую он впервые в жизни рад был видеть – равно как и вечно сердитую её собачонку, пронзительный лай которой, однако, ещё долго звенел у него в ушах, когда он поднимался в скрипящем и стонущем, как будто смертельно больном лифте на свой проклятый седьмой этаж. Семь этажей, семь нот: до-ре-ми-фа... Там его снова ждал детский гам, усиленный врубленным (без разрешения) телевизором. Время от времени вступал перфоратор, от адского соло которого, казалось, должна была треснуть черепная коробка, а панельный дом развалиться.

Он сунул в карман банковскую карту, ключи и повторил попытку сходить за продуктами. Попытка оказалась удачной, но легкомысленно поставленное на плиту

молоко сбежало, пока он снова тайком пытался приручить пианино. С трудом отскоблив с варочной панели жёлто-коричневую корку, он вытащил мобильник и набрал номер человека, которому не звонил уже целую вечность, и после короткой прелюдии, состоявшей из необходимых формальностей (как дела, как семья) перешёл к цели звонка, человека на том конце провода немало позабавившей. Мелодию записать? Дочке надо? Слышал где-то, а найти не можешь? Да, да, да, не могу! Так ты поможешь? Ну слушай... Сначала пам-пам, пам-папам... Улавливаешь? Потом – пам-па-па-пам... Вспотев от напряжения и стыда, он попробовал напеть то, с чем проснулся сегодня, но получалось как-то не совсем так, как он всё это слышал в собственной голове, и он, ещё сильнее потея и заикаясь, неуклюже свернул разговор, не забыв передать привет семье, произнеся обязательную скорбную скороговорку о том, как редко они стали общаться, выразив надежду на скорую встречу и так далее, и так далее...

Он закрыл окно – чтобы было тихо. Посудой старался не звенеть, дверцами кухонного шкафа не хлопать. Из остатков молока и стакана овсяной перхоти получилась вполне съедобная каша. Пока она варилась, он пестовал своё сокровище, разраставшееся вширь, выпускавшее боковые ветви, уходившее корнями всё глубже в его измученный мозг. Это и радовало, и пугало: он понимал, что чем сложнее, ветвистее дерево звуков, тем труднее будет его удержать в памяти, не говоря о том, чтобы записать...

Вернулась с ресницами жена, она была в хорошем настроении и что-то всё время говорила ему, рассказывала о чём-то, а он молча кивал, кивал, пытаясь одновременно слушать своего внутреннего пианиста, больше всего боясь потерять тайную связь с ним. Потом позвонил тесть – долго и скучно рассказывал о дачных делах, о необходимости вовремя поменять летнюю резину на зимнюю, затем как-то незаметно переключился на свою любимую тему, на «хороший алкоголь», понизив голос (чтобы не услышала жена, которую он неизменно обозначал словом «моя»), вдохновенно говорил о превосходности испанского хереса и чудовищности любого другого, особенно крымского, делился гастрономическими открытиями, советовал не мешкая приобрести в таком-то, известном одному ему месте такой-то вермут и ни в коем случае не брать такой-то, а ещё обязательно попробовать разбавить такой-то коньяк кока-колой в такой-то пропорции, и всё это говорилось уже в тысячный раз, и только природная деликатность, а точнее мягкотелость слушателя позволяла длиться всему этому кошмару.

День был трудный, как все выходные – их он втайне недолюбливал, предпочитая проводить время на работе, которую тоже, впрочем, не жаловал, но из двух зол, как говорится... Часы показывали половину первого. Выпив чашку некрепкого чая, он вдруг хлопнул себя по лбу и вскочил со стула. Решение было найдено: мелодию следовало записать голосом, просто напеть на телефон – хотя бы основную тему. Ну а потом – постепенно освоить всю эту китайскую дочкину грамоту и навсегда удержать при себе, пригвоздить к линованной бумаге с помощью всех этих булабочек и крючочков, именуемых нотами.

Он включил запись и в ту же секунду застыл в оцепенении.

Она исчезла. Её больше не было. Разбудившая его сегодняшним утром музыка перестала звучать. Он заткнул уши пальцами, сосредоточился, но снова проиграть мелодию в голове больше не смог. Что-то там у него внутри произошло, что-то сломалось, что-то захлопнулось, и разом прекратился весь этот громоздкий концерт, бушевавший в нём всеми своими скрипками, валторнами, тарелками и ещё множеством инструментов, названий которых он никогда не знал, но еще несколько минут назад внутренним слухом различал звучание каждого в его неповторимой звуковой особенности. Он заперся в туалете – единственном месте, где мог хотя бы несколько минут побыть наедине с собой. Но и там, в относительной тишине, нарушаемой разве что журчанием воды в бачке, эхом спорящих женских голосов с верхнего этажа и приглушенными криками детей, музыка не возвращалась.

Он долго не выходил. Жена осторожно постучала, спросила, всё ли в порядке, а когда, наконец, лязгнула защёлка и дверь открылась, озабоченно потрогала влажный горячий лоб мужа, сказала, что у него совершенно больной вид и ушла искать градусник. Он добрёл до комнаты, лёг на диван, повернулся лицом к стене, и долго-долго лежал с открытыми глазами, чувствуя себя совершенно несчастным человеком.